

**Михаил Лобанов**

## **ПРОСВЕЩЕННОЕ МЕЩАНСТВО**

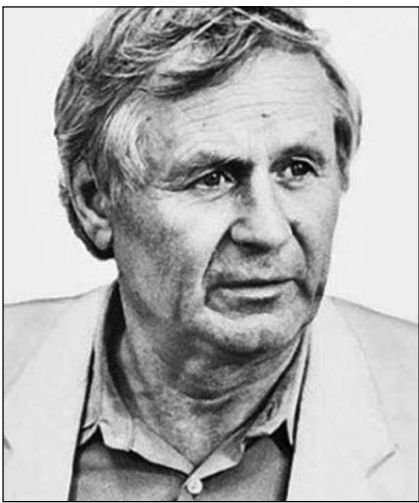
### **ПРОНИКНОВЕННЫЙ ДАР**

В жизни человека, ищущего сочетания прекрасного и вечного, кроме дней его рождения, женитьбы, появления на свет детей, этих по-настоящему значительных для него событий, есть еще и дни незабываемые, определяющие — это встречи с духовным авторитетом. Таким авторитетом, такой личностью стал для меня мой учитель Михаил Петрович Лобанов, столетие которого отмечает литературная общественность. Помню первую встречу с Михаилом Петровичем в августе трагического для нашей страны 1991 года, когда я приехал в Литинститут на сдачу экзамена по «мастерству» и, пройдя творческий конкурс с оценкой «отлично», был окрылен этим успехом. Я знал тогда, к кому и зачем поступаю в Литературный институт, вполне определился в своих чаяниях и ждал встречи с автором нашумевших «А.Н. Островского» (1979, 1989) и «С.Т. Аксакова» (1987, 2008) в ЖЗЛ — настоящим мастером, человеком, написавшим «Сердце писателя» (1963), «Страницы памятного» (1988), «Надежду исканий» (1978), «Размышления о литературе и жизни» (1982) — книги, в которых тончайшим образом были разобраны и литературные опыты студентов. И то, как они были разобра-

ны, не оставляло никаких сомнений, что учиться необходимо именно у Лобанова. Если желаешь понять хоть что-нибудь в мире, в литературе, нужно двигаться вперед от подлинного, пережитого, только тогда твой путь станет дорогой к себе.

Сегодня, когда прошло девять лет со дня ухода Михаила Петровича, я вижу, что не ошибся. Я поступал к нему три раза, поступал, выбирая именно тот поток, которым руководил он. А тогда, в 1991-м, я прошел творческие конкурсы по жанру «критика» к Е.А. Сидорову, будущему министру культуры, и по жанру «проза» — к М.П. Лобанову, ни минуты не сомневался, на котором из преподавателей остановить свой выбор, если, конечно, Михаил Петрович примет меня. (Танки, однако, уже пыхтели по брусчатке Москвы.)

«Поднимись во весь свой рост, гордый русский человек, и пусть содрогнутся в мире все, кому ненавистна русская речь и нетленная слава России», — писал Л.М. Леонов. Вот именно: самоуважение, уверенность в себе и в судьбах Родины и внушал нам Михаил Петрович всем видом своим, образом мыслей и творчества. Он — прямой продолжатель дела и Леонида Леонова,



Михаил Лобанов

отдал годы изучению его творческого наследия (первая книга — «Роман Л. Леонова «Русский лес» (1958)): разговаривал с ним, учился у него, перенимал и впоследствии передавал нам, студентам, каноны жизни и «самостояния», которые несла русская интеллигенция той еще, царской эпохи. Благодарная, национально ориентированная интеллигенция — не прозападнического толка интеллигенцию имею в виду, не «мировую обшмыгу» (по слову Ф.М. Достоевского), а подразумеваю почвенников, государственников, центристов, жизнь готовых отдать не задумываясь за Россию, за Родину. До сего дня не знаю никого, кто мог бы лучше, подлиннее, первозданней, что ли, донести до нас, тогдашних студентов перестроенных времен и либерального перегиба-перелома, главную мысль, идею неповторимого романа Л.М. Леонова «Русский лес»: что «лес» — главное богатство страны, а «лес» этот — люди русские. И как же он оказался прав! Сбережение нации, Веры Православной, культивирование русской души и духа в людях, способных слушать и слышать, — вот главная идея и та цель, которым М.П. Лобанов отдал всю жизнь и отдает через книги свои и сегодня.

Он всегда «на передовой» — от Курской дуги, с того страшного боя, в котором танки плавилась и горели всей толщей брони, а он сам в семнадцать с небольшим был ранен. Пехотинец с двумя боевыми орденами, Лобанов и сегодня на передовой — своим трудом, живым творческим наследием выдающегося русского мыслителя, критика, наставника. Вся жизнь его — Служение с большой буквы Отечеству и Литературе. А сколько ему, написавшему такие книги как «Великая победа и великое поражение» (2000), «Великий государственный» (четыре издания), «Оболганная империя» (2008), привелось пережить и передумать, знает не всякий — даже из тех, кто следит за современной литературной жизнью.

«Живи как пишешь, и пиши как живешь» — этот старый девиз, который любил Михаил Петрович Лобанов, надо записать и запомнить всему студенчеству, которое и сегодня ищет ответы на вопросы самые важные и необходимые. Я мечтаю, чтобы и мои сыновья, когда подрастут, могли бы слушать Михаила Петровича, питаться от него — «воспитываться», учиться у него. Благодаря ему я получил счастливую возможность разговаривать с Вадимом Кожинным, о. Дмитрием Дудко, Юрием Кузнецовым, Юрием Лоцицем, Глебом Горышиным, Эдуардом Володиным, Николаем Старшиновым, Семеном Шуртаким... Он открыл во мне человека, который имеет право уважать себя, любить соплеменников, ценить и искать главное в людях: способность к творчеству, умение по-своему мыслить и никогда не расставаться с книгой. Создатель бесценных «В сражении и любви» (2003) и «Твердыни духа» (2010), он влюбил меня в русский эпос и оживил мою веру — открыл мне окно духовное, притом не навязывая вовсе своего мнения, своего образа мысли, не довлея никогда, но лишь подавал руку, когда мне, в пылу молодости и некоторой наивности, было трудно подниматься вверх, а проще бы, казалось, — вниз.

Благодарю Провидение за этот Дар —

познакомиться с Лобановым; за встречи и беседы с ним; за то, что многому научился у него. Низкий поклон памяти его светлой — проникновенному его дару. Всегда помню его советы, его милосердие и доброжелательность. В нем удивительно сочетались требовательность и доброта, отцовская забота — с твердостью в вопросах самых существенных, принципиальных. Он учил ясно видеть, ясно мыслить и уметь обобщать

факты, казалось бы, случайные, частные, поднимать их до общезначимых выводов. Учил ответственности и «*Мужеству человечности*» (название одной из первых его книг, 1969) на примере всей своей жизни. Он благословил нас изучать жизнь, простых людей, претворяя, переплавляя свои наблюдения и сами судьбы наши — в наши книги.

*Василий КИЛЯКОВ*

**Р**асскажу пустячный случай. Как-то присел я на скамейку пробежать газету во дворе нашего огромного московского дома. Вдруг откуда-то сверху: что-то магнитофонно-стегающее, с гнусавинкой. Гляжу — неподалеку скамейка, сидят женщины. Кто вяжет, кто разговаривает, кто с ребенком сидит — и все ногами работают, в такт грянувшей из окна музыке. Сначала смешно показалось — не видят сами, как все одновременно притопывают. А потом стало жутковато — что-то стадное было в этом слепом притопывании. Это пожилые-то так заработали. А какой-нибудь вертун вовсе задрожит при звуках этих с гнусавинкой...

Есть над чем задуматься: в душе инного молодого человека еще никакой опорной точки, а его со всех сторон облепляют — и выхолощенный язык, опустошающий мысль и чувство, и телевизионная суэта, и нечто эстрадно-зазывное, и какая-то павильонная беготня кинофильмов. От всего этого пестрит в глазах, дразнят простенькие желания.

К тому же могут быть разные сюрпризы. Вот, например, где-то на вечеринке под бутылочное настроение прокручивалась песенка о троллейбусе, подбирающем ночью «потерпевших крушение». Гитарно-гуманная песенка. А вскоре, скажем, тот, кто слушал ее на вечеринке, наталкивается в газете на такую заметку:

«Вы написали, что фильм «был встречен прохладно и поэтому, очевидно, недолго продержался на экранах...»

Что же касается «прохладного приема», то скажу Вам, что как автор побывал во многих кинотеатрах и наблюдал реакцию зрителей, присутствовал на многих встречах со зрителями, получил множество писем из различных уголков страны.

Должен признаться, что мнения крайне противоположны: как положительные, так и отрицательные, но ни одного «прохладного».

Не знаю, подлежат ли Ваши действия суду, но поверьте мне, что на всех своих выступлениях я буду широко знакомить публику с этим фактом, чтобы она Вам не доверяла, чтобы в редакциях упоминание Вашего имени ассоциировалось с подлогом.

Копию этого письма я направляю в Союз писателей СССР и Союз кинематографистов СССР, чтобы и там познакомились с Вашими дурными манерами. Примите уверения и проч. Булат Окуджавы». (Газета «Труд» от 1 декабря 1967 г.)

Вся эта «лирика» вызвана тем, что женщина-рецензент осмелилась заметить, что фильм «Женя, Женечка и Катюша» (одним из авторов сценария которого является Окуджавы) «прохладно» встречен зрителями. Молодой поклонник песенки о троллейбусе, прочитав эту заметку, не подумает ли вот о чем: а-я-яй, такая чувствительная песенка, а какое письмецо! Ну дело ли стихотворца — ни за что ни про что угрожать судом? Даже как-то страшновато: попадись-ка под власть такой прогрессистской руки...

Так вот, наш молодой человек должен быть продуктом довольно сложного сцепления, чтобы выработалось в нем то, помните, стадное притопывание. Мещанство свое дело делает. Оно считает себя в курсе всех современных наук и мировых прогрессов. Оно ужасно любит остренькое в науке — пересаженное сердце, летающие тарелки (которые должны быть непременно посланцами с других планет), оно любит порассуждать о физиках и лириках, о какой-нибудь электронной теории бессмертия и т.д.

Такое просвещенное мещанство быстро поставит на место патриархально-отсталого Л. Толстого с его ненаучным утверждением: «Много ли железа и какие металлы в солнце и звездах — это скоро узнать можно; а вот то, что обличает наше свинство, — это трудно, ужасно трудно». Не имея собственных мыслей, мещанство делает плоским все, к чему ни прилипнет. Даже великие мысли, великие имена забалтывают, гениальную индивидуальность пытаются заклеить особым словом, уничтожающим значение подвижничества мысли великого человека: Руссо — «руссоизм», Толстой — «фатализм», Есенин — «есенинщина» и т.д.

У мещанства мини-язык, мини-мысль, мини-чувство — все мини. И Родина для них — мини. И дружба народов — тоже. Только разлагатели национального духа народов могут не желать этой дружбы.

Мини торжествует. Посмотрите, что делается порою в нынешней критике — достаточно чихнуть, чтобы тем самым вызвать многомесячную дискуссию. Чих отвлекает — в этом, видимо, и его привлекательность. Но за этим чихом и другой расчет: можно, конечно, допустить самое невинное — любыми способами войти в «историю литературы», примазываясь к истории великого народа. Но наивно так думать. Отвлекусь и сам от разлагающей угрозы мини. Лучше вспомню знакомого (по рассказам земляков) стародавнего деревенского мужичонка по прозвищу Кадык. Выходил он из дому и спрашивал на народе свою жену:

«— Мать, ты мясо-то вынула, погляди, не перепреет?» — «Кады-ык, мяса-то еще нету его».

Очень уж хотелось Кадыку похвалиться своим достатком, которого у него никогда не было. Не так ли и иные критики хотят больше «выдать», чем имеют за душой? Но ведь и то верно, что Кадык только в глазах самого себя мог быть богаче.

Если бы у этих мини была только бесхитрость Кадыка!

\* \* \*

Вот, например, небезызвестный чеховский профессор Серебряков. Все-то свои годики «герр профессор» перегнал на ученые рассуждения о красоте, ровным счетом ничего не понимая в ней. Десятки лет театры и критики высмеивают этого бездарного профессора, все-таки знают цену этой посредственности, этому приживальщику в науке, а ему хоть бы что — по-прежнему он заведует кафедрами, с надменным видом изрекает ученые пошлости, пишет никому не нужные «труды», величаво заседает, подписывает юбилейные «адреса» и т.д. Как говорит один герой у Бальзака: «Я посредственность, следовательно, я могу добиться всего, чего захочу». Серебряковы и в самом деле могут всего добиться, кроме одной лишь мелочи — оживить свою «ученость» хотя бы одним живым, творческим словом.

А моральная ценность этих светил? Увы, самого квелого сорта. При величайшей-то осанке да душу бы «адекватную», как любят говорить эти ученые люди. Нет этого. Вот помните, как стойчески переносил свои старческие недуги профессор Серебряков? Вот оно, это мужество в присутствии молодой жены нашего ученого:

«Серебряков: Говорят, у Тургенева от подагры сделалась грудная жаба. Боюсь, как бы у меня не было. Проклятая, отвратительная старость. Черт бы ее побрал.

Когда я постарел, я стал себе противен. Да и вам всем, должно быть, противно на меня смотреть... Тебе же первой я противен... Конечно, ты права. Я не глуп и понимаю. Ты молода, здорова, красива, жить хочешь, а я старик, почти труп. Что ж? Разве я не понимаю? И, конечно, глупо, что я до сих пор жив. Но погодите, скоро я освобожу вас всех. Недолго мне еще придется тянуть».

Каков наш проповедник красоты?! А ведь в жизни этот и ему подобные не довольствуются смиренной ролью слабых — им подавай трибуну, откуда бы они гремели на весь свет. Да еще как гремят. Теща Серебрякова Мария Васильевна только и занята целыми днями тем, что читает «брошюры» обожаемого ею зятя-профессора. Для таких Марий Васильевн нет большего остроумия в мире, как шутка профессора: «Повесьте, так сказать, ваши уши на гвоздь внимания»; нет большей тонкости, как профессорские восклицания о природе: «Прекрасно, прекрасно... Чудесные виды». И по-профессорски процветают на этих эффектах, на этой театральности. Выдающимися слывут из-за одной своей осанки или голосовой сгущенности.

Сознательно или бессознательно, но Чехов подметил страшный психологический симптом — духовное вырождение «образованного» человека, гниение в нем всего человеческого — так сказать, в блеске интеллектуальной синтетики. Расплодись повсеместно серебряковщина — не из чего было бы развиваться роду человеческому. Никакого здесь идеала, никакого намека на самопожертвование, ничего естественного, Фразы, фразы... Вот недавно за границей был очередной симпозиум — сколько речей было там произнесено на тему: может ли творить художник, когда на его глазах умирает с голоду ребенок? Писали в газетах, что весьма интересная была дискуссия. Но можете вы представить себе, чтобы «дискутировали» на эту «тему» Достоевский или Л. Толстой?

Элегантно облаченные в сплошной прогресс, все эти любители симпозиумов искреннейшим образом убеждены, что вокруг их пупа крутится человечество и сама земля. Вы помните «талантливого и многотимого» либерала Степана Трофимовича Верховенского из «Бесов» Достоевского, который до «страсти» любил «гражданскую роль»? Помните, как он написал нечто смелое — поэму, где все поют, даже насекомые и какой-то минерал? Эту поэму вдруг печатают «там, то есть за границей... Он был сначала испуган, бросился к губернатору и написал благодарнейшей оправдательное письмо в Петербург... Одним словом, волновался целый месяц, но я убежден, что в таинственных изгибах своего сердца был польщен необыкновенно. Он чуть не спал с экземпляром доставленного ему сборника, а днем прятал его под тюфяк и даже не пускал женщину перестилать постель, и хоть ждал каждый день откуда-то какой-то телеграммы, но смотрел свысока. Телеграммы никакой не пришло».

Ясно, что наш смелый Степан Трофимович преувеличивал свою гражданскую роль, вряд ли кому было дело до него, хотя он «искренно сам верил всю свою жизнь, что в некоторых сферах его постоянно опасаются, что шаги его непрерывно известны и сочтены, и что каждый из трех сменившихся у нас в последние двадцать лет губернаторов, въезжая править губернией, уже привозил с собою некоторую и хлопотливую о нем мысль, внушенную ему выше, и прежде всего при сдаче губернии».

Чтобы полнее представить себе значительность Степана Трофимовича, напомним, что он защитил блестящую диссертацию о «возникавшем было гражданском и ганзеатическом значении немецкого городка Ганау, в эпоху между 1413 и 1428 годами». Кроме того, Степану Трофимовичу принадлежит ряд замечательных мыслей, вроде: «я... всех русских мужичков отдам в обмен за одну Рашель»; «К тому же Россия есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить, без немцев и без труда».

Конечно, в иных обстоятельствах Степаны Трофимовичи могут менять темы своих диссертаций, переваливаться на иной бочок своей «гражданской роли» — по многосторонности своей натуры. Пойдут труды соответственные — с надлежащей фразеологией и неусыпными ссылками. Где-то я читал, как ответил на высочайшее пожалование крепостными один благородный человек: «Куда уж мне до чужих душ, когда и со своей собственной я не умею справиться». Вот такое самозамаление уж никогда не придет в голову «досточтимым» прогрессистам. Они убеждены, что им под силу справиться с таким количеством душ, сколько их в человечестве. Они и не представляют себе иной аудитории, как целое человечество, не народ какой-нибудь. Народ для них — это провинциально.

При образованности-то всевропейской вдруг такой анахронизм. Что скажут европейские коллеги по всемирному интеллектуальному прогрессу? Образованность — слово магическое и всеспасительное. Как же можно представить себе профессора Серебрякова или Степана Верховенского без этого отличия? И культура без них зачахнет. Кто же будет говорить о ней на конгрессах, симпозиумах? Но сами они считают, что не только говорят о культуре, но и делают ее. Заодно с Достоевским — ибо у него и у них, «интеллектуалов», один и тот же «круг идей». Тайна искусства, стихия народной жизни, порождающая подлинную культуру как море жемчужину, — все это, конечно, к делу не относится.

Видимо, есть какая-то роковая дисгармоничность между внутренней ценностью человека и его местом в мире. Мещане часто артистичны, форма у них не только что-то скрывает, но и в какой-то мере поглощает внутренние разрушительные силы. Творческие цели, самоуглубление этим силам неведомы — так они разряжаются смертельной практической хваткой. Это колоссальнейшая энергия, которой хватает и на самопожирание, и на торжество. Если не в глубь — то вперед, во все стороны пространства!

Точно так же как выстраданное слово русских художников-классиков рождено страданием и борьбой народа, так истинная культура исходит из недр народного опыта. Даже музыка, которую называют наиболее «общечеловеческим» видом искусства, не оторвана от национальных истоков (хотя бы и духовные кантаты Баха, впитавшие в себя многое из немецкой средневековой музыки). Культура — растение органичное, немыслимое вне народной почвы. Но плодородие этой почвы непостоянно, оно зависит от исторических обстоятельств. И конечно же, никакой разлив так называемой «высшей образованности» не заменит первоисточника культуры. В истории народов можно вспомнить периоды, когда задавленный, так сказать, необразованностью народ порождал через органы своего самосознания — национальных художественных гениев — непреходящие ценности культуры. Но вряд ли зараженная мещанством (даже и сплошь дипломированная) масса способна оставить по себе что-либо духовно-значительное. Самое прогрессивное умножение такой массы культуры никак не сулит. Здесь можно быть оптимистичным только на манер того зарубежного прогноза, который недавно был опубликован в «Литературной газете». «Ни прозорливость читателя, ни жажда знания не смогут обеспечить непосредственный контакт с совокупностью даже наиболее значительных творений человеческой мысли, когда одновременно будут творить тысячи Рафаэлей, Моцартов...» Стало быть, не такое уж сложное дело — размножение художественных гениев. Это, так сказать, неизбежно-прогрессивное дело (уже по одному тому, что прошлое всегда и во всем хуже настоящего, а тем более будущего). Самоуверенность такого рационализма имеет давнюю историю. Может быть, наиболее разительный пример — как свора музыкантов после смерти Баха переделывала его произведения, «поднимая» их на уровень «современного звучания». Бах был для них «неотесанным». У нас в России в 20-х годах много пришлось столкнуться с русскими классиками режиссеру Мейерхольду: толь-

по после основательной перекройки их книг, урезывания всего «неотесанного» и приклеивания нового, «современного», эти писатели обрели «достойный» голос.

Казалось бы, ведь страшно подумать: сама тянет в себя непостижимая глубина; неужели же можно, стоя у этой пропасти, примериваться аршином, дабы одеть эту бездну в некий современный костюм?

Кстати, вот тема для будущего исследователя: с какой целью так методически выхолащивалось на сцене (и не только на сцене) слово русских классиков? Кое-что может пояснить письмо научного работника В. Трухтанова о постановке А. Эфросом чеховских «Трех сестер» на Малой Бронной (газета «Советская Россия» от 13 февраля с.г.): «...огромная тахта на авансцене — эмблема спектакля. Чуть ли не все герои побывали на этой тахте. Чего только на ней не происходит: и валяются от безделья, и целуются, и бьются в истоме, когда играет молодая кровь... В чеховской пьесе — твист. Это ли не фиглярство?..

В театре на Малой Бронной чуть не каждую неделю перед сотнями людей звучат монологи «офицериков» Тузенбаха и Вершинина о будущем, о том, что оно будет прекрасным, о том, что ради него лишь и стоит жить. Эти монологи произносятся в таком саркастически-издевательском тоне и над Чеховым, и над теми, кто верит в это, с такими марионеточными подергиваниями и ужимками, что о какой-либо преемственности поколений, взаимном обогащении не только говорить — думать неловко. Зато какой эффект — все наоборот!..

Кто следующий подвергнется экзекуции?.. Пушкин, Горький, а может быть, Тургенев или Островский?»

Автор письма спрашивает: «Какие идеалы вы несете взамен ниспровергаемых? Пока налицо только разрушение». Виден ли конец этому разрушению?

И как же заразительна «культурная» эlegantность! В самом деле, если мы умнее (потому что современнее) наших предков, если скоро будет переизбыток Моцартов (всех даже невозможно будет заметить), то что нам какой-то прошлый Моцарт! Насколько беспредельны наши прогрессивные возможности, можно судить, например, по такому отношению к красоте. Один философ первых веков нашей эры отмечал в красоте ее «способность ранить душу человека, оставить в ней след неизгладимый» (привожу слова одного историка). Гете считал, что красота может быть только преходящей. Две бездны — Мадонну и Содом, божественное и дьявольское видел в красоте Достоевский. А мы сейчас куда основательнее проникаем, исчерпывая это понятие красивым ширпотребом.

Можно писать диссертации о красоте; одеваться красиво, то есть модно; сидеть в красивом ресторане, красиво выпивая и покуривая; прищуривание, эрудированные разговоры, тонкость намеков — все распрекрасно. Но так все это пестрит, мельтешит, что, как ни старайся наедине, ни за что не соберешь эту воздушную красоту в какую-то одну точку, которая хоть чем-то задела бы душу. Пыль какая-то.

Смеяться разучились. Смотришь: здоровый мужик, добродушнейшая физиономия — думаешь, вот освежит душу своим столь же добродушно-открытым смехом, а он изобразит такое нечто учтиво-чичиковское, что тошно становится. Иначе нельзя — так принято, так культурно. А если мы вернемся к профессору Серебрякову, то здесь ни один шаг не обходится без «культуры», не говоря уже об его важном писании. Конечно, Серебряковых ничем не проймешь, они ни на минуту не сомневаются в историческом значении своих унылых монографий, но все-таки я приведу слова Фейербаха: «И подобно тому, как ценность и содержание жизни не определяются количеством лет, так и ценность и содержание сочинения не определяются количеством листов. Жизнь, заключенная в кратком афоризме, может скрывать в себе больше духа, смысла и даже опыта, чем жизнь, многословно выраженная скучным профессорским или канцелярским стилем».

Это верно, что живет только то, где «больше духа» (не отрадно ли, не справедливо ли, что духовная значительность, выраженная в слове, не пропадает). Но верно и то, что это значительное может долгое время быть погребенным под корою незначительного, которое из-за своей доступности неистребимо. Творческое требует силы, внутренней независимости, индивидуальности. Другое дело — видимость, форма «интеллектуального». Это уже всем доступно, достаточно лишь усвоить набор каких-то правил, изречений. В этой рационалистичности объединяется самая разномастная компания — от ученого схоласта до девицы с дипломом, которая обо всех новинках искусства может весь вечер щебетать.

\* \* \*

Все на свете можно опозлить, и в этом бессмертная заслуга бессмертного мещанства. В свое время Блок писал об интеллигентах-философах, ищущих Бога с кафедры, в «людской каше», при обилии электрического света. Таким сытейшим ораторам как бы отвечал Чехов в одном из своих писем: если веры в истину нет, «то не заменять ее место шумихой, а искать, искать, искать одиноко, один на один со своей совестью...»

Но в том-то и дело, что никак не могут «искать одиноко» эти динамичные деятели. Потому что осатанело крутятся в них цитатные и прочие «культурные» приспособления, и не могут они работать вхолостую. Вот тут-то и подавай на разamol побольше «проблем» всякого сорта — начиная от судьбы мировых цивилизаций и кончая кибернетическим стихотворчеством. Попадись на вид Гл. Успенский с его болью — вот уж будет «блеск»! Боль, «кровопролитная битва» на шахматной доске, атомная бомба, моднейшие актрисы — все одинаковая пицца для крутящегося внутри интеллектуального агрегата. И самая смерть для таких счастливых — щенячье дело. Говорят, что Моцарт умер вскоре же после «Реквиема» — так он был потрясен сокровенной загадкой бытия, выразившейся в его «Лакримозе». Но вот я слышал, как говорил молодой музыкант, вернувшийся из Боткинской больницы, где только что умерла его жена: «Понимаешь, так хватала из кислородной трубки, сжимает ее, дергает, а у самой уже в это время окисление мозга начинается...» Ему бы бежать с этого шестого этажа, где он так расписывал смерть жены, чтобы в голове кровь с мозгами не перемешалась, чтобы не броситься самому из окна, а он так научно вникает... Как бы посмеялся этот любитель изящного, передай я ему рассказ моей бабушки о том, как умирала ее дальняя родственница: «Говорит всем: вы возьмите в руки свечи, зажгите их и мне одну дайте, чтобы я не в темноте пошла на тот свет, а с огоником».

Поделюсь наблюдениями. Иногда я хожу на кладбище Донского монастыря (от нашего дома поблизости). Не было еще дня, чтобы не слышал: «Скажите, а где могила Салтычихи?» Но не слышал ни разу: «Скажите, а где могила Чаадаева?» Или: «Где могила историка Ключевского»? Видимо, Салтычиха действует поострее...

Как короед, мещанство подтачивает здоровый ствол нации. Живя только этим подтачиванием — слепым или злобно-сознательным, — мещанство не способно подняться повыше своих несложных (хотя и разрушительных) инстинктов. Исторический смысл нации? Для мещанства это пустота. Для него «общие» идеи — пустой звук, его греет только то, что можно попробовать на ощупь, что можно сегодня же реализовать на потребу брюха. Чтобы что-то утверждать, нужна способность к творчеству. Поэтому мещанство так визгливо-активно в отрицании. В этом у него способности изощреннейшие, эрудиция современнейшая — вплоть до ссылок на заклятых зарубежных «друзей» и т.д. Это мещанство — самая желанная почва для разлагателей народного духа.

Вообразите себе самочувствие Герцена, который покинул Россию ради «свободной речи» в Европе и вот в этой Европе начинает задыхаться от миазма буржуазной пошлости. Потом-то у Герцена вырвалось: «Начавши с крика радости при переезде через границу, я окончил моим духовным возвращением на Родину. Вера в Россию спасла меня на краю нравственной гибели». Вообразите себе ужас Герцена, который бежал за границу, полный надежд и веры в европейское духовное процветание, и вот обнаруживается, что духовного-то процветания и нет, а есть «мелкая и грязная среда мещанства, которое, как тина, покрывает зеленью своей всю Францию», а есть лавочки, буржуа, безлика икра людская. Сколько ненависти в герценовских словах о буржуа, который «обрюзг, отяжелел», который «смеется над самоотвержением», каменея в «разврате самом гнусном». Катастрофично оскудение: «Все мельчает и вянет на истощенной почве: нету талантов, нету творчества, нету силы мысли, нету силы воли... все нищают, не обогащая никого: кредита нет, все перебиваются со дня на день; образ жизни делается менее и менее изящным, грациозным, все жмутся, все боятся, все живут, как лавочки, нравы мелкой буржуазии сделались общими, никто не берет оседлости: все на время, наемно, шатко».

Можно представить себе такой вопрос Герцену со стороны воображаемого оппонента: «Вот вы говорите о русском народе, так сочувствуете ему за всякие там его страдания, но что будет, когда он достигнет благополучия, достигнет процветания? Вы уверены, что тогда-то, без голодухи-то повальной, без которой не обходились русские, ваш народ будет глубок духом? Будет готов к толчку для обновления человечества? Не проест ли его гля столь презираемой вами буржуазности?» Герцен мог бы в ответ сказать: «Буржуазная Россия? Да минет Россию это проклятие!»

Нет более лютого врага для народа, чем искус буржуазного благополучия. Это равносильно параличу для творческого гения народа. Что же тогда оставляет народ в памяти человечества? Когда нация не застыла еще в определенных формах, когда внутренние силы ее мощно бродят, пусть потенциально, — тогда есть историческая надежда. Но может ли она быть, когда нация нивелируется в стандарте самых несложных прагматических идеалов и потребностей? Это упрощение заразительно в нынешнем мире. Американизм духа поражает другие народы. Уже анахронизмом именуется национальное чувство. Какие там могут быть судьбы народов, когда, по словам одного зарубежного социолога, Европа не что иное, как «единый индустриальный организм», где взаимосвязь разноплеменной массы целиком определяется технико-организационными факторами. Интеграция — вот слово, которым эти ревнители «единого организма» хотели бы духовно просветить народы, зараженные национальным «анахронизмом». Так интегрировать, чтобы начисто соскоблить этот дикий пережиток национального, народного, чтобы перемешать всех во всеобщей индустриальной пляске. Чтобы ни духа, ни памяти о прошлом, ни самого языка не осталось от этих самых народов — без всего этого груза куда успешнее будет регулирование «единым организмом». Ничего, что с такой «интеграцией» в народах исчезнут атлантиды самобытной культуры, что вместо красочного луга, усеянного цветами, вытянется что-то вроде голого асфальтированного шоссе, что нивелировка породит гибельную для творчества стандартизацию.

Рано или поздно смертельно столкнутся между собой эти две непримиримые силы — нравственная самобытность и американизм духа.

Духовная сытость — вот психологическая основа буржуа, делающая его таким непробиваемо здоровым и в то же время неизлечимо больным. Для творческого человека нет, пожалуй, большего наказания, чем опуститься до этой духовной сытости, но буржуа иного состояния и не знает. Респектабельность вполне побивает в его глазах «юродство какого-нибудь Белинского», нищенствовавшего всю

жизнь, а перед смертью, в бреду, что-то кричавшего народу. Ну солидно ли? Или вот еще: дело ли этого ученого Ломоносова рассуждать о «сохранении и размножении российского народа»?..

Гражданская честь заливается жиром. Все бытие — в пределах желудочных радостей: довольствуясь этим малым, мещанин только в этом рыгающем содержании и понимает мир.

То, что живот — святость материнства, это совершенно ясно. Но есть и брюхо, о котором В. Гюго (по поводу Рабле) сказал: «Брюхо — животное, это свинья. Один из отвратительных Птоломеев прозывался «брюхо». Брюхо для человечества — страшная тяжесть: оно ежеминутно нарушает равновесие между душой и телом. Оно пятнает историю. Оно вместилище пороков. Аппетит развращает разумение. Похоть сменяет волю... Потом оргия превращается в кабачный загул... Человек стал штофом водки. Внутренний поток темных представлений топил мысль: потонувшая совесть не может более подать знака пьянице-душе. Оскотение совершилось. Это даже уж и не цинизм: пустота и скотство. Диоген исчез: осталась только его бочка. Довершено. Ничего больше: ни достоинства, ни стыда, ни чести, ни добродетели, ни ума: животненное наслаждение напрямки, грязь наголо... брюхо съело Человека. Конечное состояние всех обществ, в которых померк идеал».

На застоявшуюся кровь буржуа куда острее действует «человечество», нежели местное «народ». Этому провинциализму он сумеет дать надлежащий отпор. Вроде таких вот допотопных слов Гоголя: «Что Петербург не сделался до сих пор гостиницею, этому виною какая-то внутренняя стихия русского человека, до сих пор глядящая оригинальностью даже в вечной шпифовке с иностранцами». А ведь давно пора бы отшлифовать эту самую «внутреннюю стихию». Да и гостиница — дело веселое и прогрессивное, способствующее общению и усвоению культуры...

Национальная культура для мещанства — пустой звук. С одинаковым физиологическим напором будет оно говорить и о модном здании гостиницы, и о трагедиях в жизни народа. Первооснова всякого творчества — незримая связь с «телом народа» (употребляя известное выражение) — столь же чужда мещанству, сколь соблазнительна для него международная вокзальная сутолока. Нравственно-психологическая физиономия народа, его место в истории человечества — ведь это требует духовных поисков, к этому надо идти внутренне, самостоятельно...

...Этой зимой, в середине декабря, приехав в родную Мещеру, пошел я со своим дядей в гости к родственникам в Егорово (неподалеку от Спас-Клепиков). В деревне этой родился и жил знаменитый русский художник Архипов. Здесь в каждом доме будут вам говорить об Архипове, так же как в Спас-Клепиках — о Сергее Есенине, учившемся тут. Тихая деревушка, вся в зеленой оправе мещерских лесов.

В низеньком домике праздновали рождение дочки молодых хозяев. Трое братьев с женами главенствовали за столом (недавно отслужили в армии и все, то есть молодые мужья, вернулись домой).

О многом говорили. И вот в этом-то низеньком доме узнал я поближе одного своего земляка. Сам он больше молчал, а говорил о нем его друг, тоже фронтовик и тоже прошедший войну до Берлина, — Иван Макарович Марушкин. «Его оружие в Ленинграде в музее стоит. Награжден двумя орденами Славы, двумя Красной Звезды, всего двенадцать наград...»

А этот героический русский человек неприметно сидел тут же в углу лавки и чуть застенчиво улыбался...

Потом, когда в метель мы возвращались лесом домой, я все думал: Лев Толстой знал свой народ. Недаром он так любил своего Тушина. Такие люди спасали Россию. И не в них ли — воплощение исторического и морального потенциала народа? И не здесь ли наша вера и надежда?